

РЭЙ

БРЭДБЕРИ

РЭЙ БРЭДБЕРИ

ВИНО
из
ОЛУВАНЧИКОВ



МОСКВА
2022

УДК 821.111-312.9(73)
ББК 84(7Coe)-44
Б89

Ray Bradbury
THE DANDELION WINE

© 1953 by Ray Bradbury
Ray Bradbury trademark used with the permission
of Ray Bradbury Literary Works LLC

Перевод с английского *Арама Оганяна*

Художественное оформление серии
«Классика на пятерочку!» — *Meethos*

Художественное оформление серии
«Pocket Book» *С. Костецкого*

Брэдбери, Рэй.
Б89 Вино из одуванчиков / Рэй Брэдбери ; [пер.
с англ. А. Оганяна]. — Москва : Эксмо, 2022. — 352 с.

ISBN 978-5-04-104539-5 (Классика на пятерочку!)
ISBN 978-5-699-94693-8 (Pocket Book)

Войдите в светлый мир двенадцатилетнего мальчика и про-
живите с ним одно лето, наполненное событиями радостными и пе-
чальными, загадочными и тревожными; лето, когда каждый день
совершаются удивительные открытия, главное из которых — ты жи-
вой, ты дышишь, ты чувствуешь!

«Вино из одуванчиков» Рэя Брэдбери — классическое произ-
ведение, вошедшее в золотой фонд мировой литературы.

УДК 821.111-312.9(73)
ББК 84(7Coe)-44

ISBN 978-5-04-104539-5
(Классика на пятерочку!)
ISBN 978-5-699-94693-8
(Pocket Book)

© Оганян А., перевод на русский
язык, 2022
© Издание на русском языке,
оформление. ООО «Издательство
«Эксмо», 2022

*Уолтеру И. Брэдбери,
Не дядюшке, не кузену,
А самым решительным образом —
Редактору и другу!*

По эту сторону Византии

Вступительное слово

Эта книга, как и большинство моих книг и рассказов, возникла нечаянно. Я, слава богу, начал постигать природу таких внезапностей, будучи еще весьма молодым писателем. А до того, как и всякий начинающий, я думал, что идею можно принудить к существованию только битьем, мытьем и катаньем. Конечно, от такого обращения любая уважающая себя идея подожмет лапы, откинется на спину, уставится в бесконечность и околеет.

Можно сказать, мне повезло: в двадцать с небольшим лет я увлекался словесными ассоциациями: просыпаясь поутру, шествовал к своему столу и записывал любые приходящие на ум слова или словесные ряды.

Затем я во всеоружии обрушивался на слово или вставал на его защиту, призывая ватагу персонажей взвесить это слово и показать мне его значение в моей жизни. Через час или два, к моему удивлению, возникал новый, законченный рассказ. Совершенно неожиданно и так восхитительно! Вскоре я обнаружил, что подобным образом мне суждено работать всю оставшуюся жизнь.

Поначалу я перебирал в памяти слова, которые описывали мои ночные кошмары и страхи моего детства, и лепил из них рассказы.

Потом я пристально посмотрел на зеленые яблони и старый дом, в котором родился, и на дом по соседству, где жили мои бабушка и дедушка, на лужайки летней поры — места, где я рос, и начал подбирать к ним слова.

В этой книге, стало быть, собраны одуванчики из всех тех лет. Метафора вина, многократно возникающая на этих страницах, на удивление уместна. Всю свою жизнь я копил впечатления, запрягивал их куда-нибудь подальше и забывал. При помощи слов-катализаторов мне предстояло каким-то образом вернуться и распечатать воспоминания. Что-то в них будет?

С двадцати четырех до тридцати шести лет дня не проходило, чтобы я не отправлялся на прогулку по своим воспоминаниям среди дедовских трав северного Иллинойса, надеясь набрести на старый недогоревший фейерверк, ржавую игрушку, обрывок письма из детства самому себе, повзрослевшему, чтобы напомнить о прошлом, о жизни, о родине, о радостях и омытых слезами горестях.

Это занятие превратилось в игру, в которую я ушел с головой, — интересно, что мне запомнилось про одуванчики или про сбор дикого винограда в компании папы и брата. Я мысленно возвращался к бочке с дождевой водой — рассаднику комарья под боковым окном, выискивал ароматы

золотистых мохнатых пчел, висевших над виноградной оранжереей у заднего крыльца. Пчелы, знаете ли, благоухают, а если нет, то должны, ибо их лапки припорошены пряностями с миллионов цветов.

В более зрелые годы мне захотелось вспомнить, как выглядел овраг, особенно тогда, когда поздними вечерами я возвращался домой с другого конца города, после сеанса «Призрака Оперы» с живописными ужасами Лона Чейни, а мой брат Скип забегал вперед и прятался под мостом через ручей, откуда, подобно Неприкаянному, выпрыгивал вдруг, чтобы меня сграбастать, а я с истошными воплями улепетывал, спотыкался, снова бежал и верещал всю дорогу до самого дома. Бесподобно!

Играя в словесные ассоциации, я попутно встречался и сталкивался с истинной и старинной дружбой. Из своего детства в Аризоне я позаимствовал для этой книги своего товарища Джона Хаффа и перенес его на восток, в Гринтаун, чтобы попрощаться с ним как подобает.

Попутно я садился завтракать, обедать и ужинать с давно почившими и обожаемыми мною людьми. Ведь я на самом деле любил своих родителей, бабушку-дедушку и брата, несмотря на то что тот, бывало, мог меня, что называется, «подставить».

Я то оказывался в погребке, работая с отцом на винном прессе, то на веранде в ночь Дня Незави-

симости, помогая своему дядюшке Биону заряжать его самодельную медную пушку и палить из нее.

Вот тут-то я и столкнулся с неожиданностью. Конечно, никто не велел мне быть застигнутым врасплох, мог бы я добавить от себя. Сам виноват. Я набрел на старые и лучшие способы сочинительства благодаря своему неведению и экспериментаторству и вздрагивал каждый раз, когда истины выпархивали из кустарника, как перепелки, чуя выстрел. Как ребенок, который учится ходить и видеть, я шел к вершинам писательского мастерства наобум. Научился позволять своим чувствам и Прошлому рассказывать мне все, что было истинным.

Так я превратился в мальчика, бегущего с ковшом за чистой дождевой водой, зачерпнутой из бочки на углу дома. И, разумеется, чем больше воды вычерпываешь, тем больше ее заливается. Поток никогда не иссякал. Как только я научился снова и снова возвращаться в те далекие времена, у меня возникло множество воспоминаний и чувственных ощущений, которые можно было обыгрывать, не обрабатывать, а именно обыгрывать. Грош цена «Вину из одуванчиков», если оно не есть спрятавшийся в мужчине мальчишка, играющий в божьих полях на зеленой августовской траве, в пору своего взросления, старения и ощущения тьмы, поджидающей под деревьями, чтобы посеять кровь.

Меня позабавил и несколько озадачил некий литературный критик, написавший несколько лет назад аналитическую рецензию на «Вино из одуванчиков» и более реалистичные произведения Синклера Льюиса, в которой он недоумевает: как это я, родившийся и выросший в Уокигане, переименованном мною в Гринтаун для моего романа, не заметил в нем уродливой гавани, а на его окраине удручающего угольного порта и железнодорожного депо.

Ну конечно же, я их заметил и, будучи рожденным чародеем, был пленен их красотой. Разве могут быть в глазах ребенка уродливыми поезда и товарные вагоны, запах угля и огонь? С уродливостью мы сталкиваемся в более позднюю пору и начинаем всячески ее избегать. Считать товарные вагоны — первейшее занятие для мальчишек. Это взрослые боятся и улюлюкают при виде поезда, который преграждает им дорогу, а мальчишки восторженно считают прикатившие издалика вагоны и выкликают их названия.

К тому же именно сюда, в это самое, якобы уродливое, депо прибывали аттракционы и цирки со слонами, которые в пять утра в темноте поливали могучими едкими струями мостовые.

А что до угля из порта, то каждую осень я спускался в подвал в ожидании грузовика с железным желобом, по которому с лязгом съезжала тонна красивейших метеоров, падающих в мой под-

Рэй Брэдбери

вал из глубокого космоса, угрожая похоронить меня под грудой черных соковиц.

Иными словами, если ваш сынишка — поэт, то для него лошадиный навоз — это цветы, чем, впрочем, лошадиный навоз всегда и является.

Пожалуй, новое стихотворение лучше, чем сие предисловие, объяснит, как из всех месяцев Лета моей жизни проросла эта книга.

Вот как оно начинается:

Не из Византии я родом,
А из иного времени и места,
Где жил простой народ,
Испытанный и верный.
Мальчишкой рос я в Иллинойсе.
А именно в Уокигане,
Название которого
Непривлекательно и
Благозвучием не блещет.
Оттуда родом я, друзья мои,
А не из Византии.

Стихотворение продолжается описанием моей привязанности к родным местам длиною в жизнь:

В своих воспоминаниях,
Издавека, с верхушки дерева,
Я вижу землю, лучезарную,
Любимую и голубую,
Такую и Уильям Батлер Йейтс
Признал бы за свою.

Уокиган, в котором я частенько бываю, не лучше и не уютнее любого другого среднезападного

американского городишки. Он почти утопает в зелени. Кроны деревьев смыкаются над серединой улицы. Дорога перед моим старым домом все еще вымощена красным кирпичом. Так что же особенного в этом городе? Да то, что я там родился. Он стал моей жизнью. Я должен был написать о нем как подобает:

Среди мифических героев мы росли
И ложкою хлеб Иллинойса намазывали
Светлым джемом — божественною
Пищей, чтобы его разбавить
Арахисовым маслом
Цвета бедер Афродиты...
А на веранде — спокойный и
Решительный — мой дед,
Ходячая легенда,
Достойный ученик Платона,
Его слова — чистейшая премудрость,
И светлым золотом искрится взгляд.
А бабушка тем временем
«Разодранный рукав печали»¹
Чинит и вышивает холодные
Снежинки редкой красоты и
Блеска, чтобы припорошить
Нас летней ночью.
Дядья-курильщики
Глубокомысленно шутили,
А ясновидящие тетушки
(Под стать дельфийским девам)
Летними ночами

¹ У. Шекспир. «Макбет», акт 2, сцена II. (Здесь и далее прим. перев.)

Всем мальчикам,
Коленопреклоненным,
Как служки в портиках античных,
Пророческий разлили лимонад;
Потом шли почивать
И каяться за прегрешения невинных;
У них в ушах грехи,
Как комарье, зудели
Ночами и годами напролет.
Нам подавай не Иллинойс, не Уокиган,
А радостные небеса и солнце.
Хоть судьбы наши заурядны,
И мэр наш далеко умом не блещет,
Подобно Йейтсу.
Мы знаем, кто мы есть. В итоге что?
Византия.
Византия.

Уокиган/Гринтаун/Византия.

Так, значит, Гринтаун существовал?

Да, и еще раз да! А существовал ли на самом деле мальчишка по имени Джон Хафф?

На самом деле существовал. И это его настоящее имя. Не он меня покинул, а я. Эта история со счастливым концом. Он жив и поныне, сорок два года спустя. И помнит нашу любовь.

И Неприкаянный существовал?

Да. Так его и звали. Когда мне было шесть лет, он рыскал ночами по нашему городу, наводя на всех ужас. Его так и не поймали.

И самое важное: существовал ли на самом деле большой дом бабушки и дедушки, населенный

постояльцами, дядюшками и тетюшками? На этот вопрос я уже ответил.

А овраг всамделишный, глубокий и черный в ночную пору? Он был и остается таким. Несколько лет назад я с опаской водил туда своих дочерей, думая, что с годами овраг мог обмелеть. Я с превеликим облегчением и удовольствием могу заверить вас, что овраг стал еще глубже, темнее и таинственнее прежнего. Даже теперь я бы не посмел возвращаться через него домой после просмотра «Призрака Оперы».

Итак, Уокиган был Гринтауном, а тот — Византией, со всем счастьем, которое под ним подразумевалось, и со всей грустью, которая звучит в этих именах. Люди в нем были богами и лилипутами и знали, что они смертны, поэтому лилипуты ходили, гордо вытянувшись вверх, чтобы не смущать богов, а боги скрючивались, чтобы коротышки чувствовали себя в своей тарелке. В конце концов, не в этом ли заключается наша жизнь — в способности ставить *себя* на место других людей и смотреть их глазами на пресловутые чудеса и говорить: «А, так вот как вы это видите. Теперь я запомню».

Итак, я чувствую смерть и жизнь, тьму и свет, старое и молодое,мышленное и глупое, вместе взятые, чистый восторг и полный ужас, написанный мальчишкой, который некогда висел вверх тормашками на деревьях, напяливал на себя костюм летучей мыши с сахарными клыка-

ми и, наконец, свалился с дерева, когда ему минуло двенадцать, пошел и набрел на игрушечную пишущую машинку и напечатал свой первый «роман».

А вот еще одно воспоминание напоследок.

Огненные шары.

В наши дни их редко встретишь, хотя в некоторых странах, как я слышал, их еще делают и наполняют теплым дыханием подвешенной снизу жженой соломки.

Но в Иллинойсе в тысяча девятьсот двадцать пятом году они у нас еще были. И одним из последних воспоминаний о моем дедушке будет это — последний час ночи на Четвертое июля, сорок восемь лет назад, когда деда и я вышли на лужайку, и развели костерок, и наполнили красно-бело-синий в полосочку грушевидный бумажный шар горячим воздухом, и держали в руках яркого потрескивающего ангела в эту прощальную минуту перед крыльцом, на котором выстроились дядюшки и тетушки, кузены, мамыши и папаши, а потом очень бережно выпустили из наших пальцев в летний воздух над засыпающими домами среди звезд все, что было нашей жизнью, светом, таинством — хрупким и непостижимым, ранимым и прекрасным, как само бытие.

Я вижу, как дедушка, погруженный в свои раздумья, провожает взглядом парящий свет. Вижу себя: глаза на мокром месте, потому что все за-

Вино из одуванчиков

кончилось, ночь прошла. Я понимал, что другой такой ночи никогда уже не будет.

Никто ничего не сказал. Мы просто смотрели вверх на небо, вдыхали и выдыхали и думали об одном и том же. Но никто ничего не сказал. Хотя кто-то, в конце концов, должен был что-то сказать. И вот этим *кем-то* оказался я.

Вино по-прежнему дожидается в недрах погреба.

Моя возлюбленная семья все еще сидит в темноте веранды.

Огненный шар все еще плывет, маячит и пламенеет в ночном небе еще не погребенного лета.

Как и почему?

Да потому что я так сказал.

*Рэй Брэдбери,
лето 1974 года*

I

Безмятежное утро. Город, укутанный во тьму, нежится в постели. Погода насыщена летом. Дуновение ветра — блаженство. Теплое дыхание мира — ровно и размеренно. Встань, выгляни из окна, и тебя мгновенно осенит — вот же он, первый миг всамделишной свободы и жизни, первое летнее утро.

В сей предрассветный час на третьем этаже в спальне под стрельчатым потолком только что проснулся Дуглас Сполдинг, двенадцати лет от роду, и доверчиво пустился в плавание по лету. Его окрыляла высота самой внушительной башни в городе, что позволяла ему реять на июньских ветрах. По ночам, когда кроны деревьев волнами накатывали друг на друга, он метал свой взор, словно луч маяка, во все стороны поверх буйного моря ясеня, дуба и клена. Но сейчас...

— Ух ты, — прошептал Дуглас.

Впереди целое лето, день за днем, предстояло вычеркнуть из календаря. Он представил, что его руки, как у богини Шивы из путеводителя, мечутся во все стороны, обрывая кисленькие яблочки,

персики и черные сливы. Он облачится в листву деревьев и кустарников, окунется в речные воды. Он не без удовольствия будет примерзать к заиндевелым дверцам ледника. Он будет радостно поджариваться на бабушкиной кухне за компанию с целым десятком тыщ курочек.

Но сейчас ему предстояла привычная задача.

Раз в неделю ему разрешалось оставить на одну ночь папу, маму и младшего братишку Тома в домике по соседству и прибежать сюда, взлететь по мрачной винтовой лестнице под бабушкин-дедушкин купол, укладываясь спать в этой колдовской башне, среди раскатов грома и призраков, чтобы пробудиться до хрустального перезвона молочных бутылей и сотворить свой чародейский обряд.

Он встал во тьме перед распахнутым окном, сделал глубокий вдох и выдохнул.

Тут же погасли уличные фонари, словно свечки на черном пироге. Он выдыхал снова и снова — стали исчезать звезды.

Дуглас улыбался, указуя пальчиком.

Туда и туда. Теперь — сюда и сюда...

На сумрачной предутренней земле прорезывались желтые квадратики. Вдруг в предрассветном далеке зажглась россыпь окон.

— Все зевнули. Хором! И встали.

Большой дом под его ногами пришел в движение.

— Деда, вылавливай зубы из стакана! — Он

выдержал должную паузу. — Бабуля, прабабушка, принимайтесь печь горячие блинчики!

Сквозняк разнес теплое благоухание текущей блинной массы по коридорам, дразня ароматом постояльцев, тетюшек, дядюшек и кузенов в гостевых опочивальнях.

— Улица Всех-Превсех Стариков и Старушек, просыпайся! Мисс Элен Лумис, полковник Фрилей, миссис Бентли! Ну-ка, прокашлялись! Встали с постели! Приняли пилюли! И — ходу! Мистер Джонас, запрягайте свою лошадку, выкатывайте свой фургон с добром!

Неприветливые дома по ту сторону оврага открыли недобрые драконьи глазищи. Вскоре вниз по утренним улицам две пожилые дамы покатают на своей электрической Зеленой Машине, приветствуя всех собачек.

— Мистер Тридден, бегите в трамвайное депо!

И вот уже, рассыпая раскаленные голубые искры, городской трамвай плывет по руслу мощенных кирпичом улиц.

— Джон Хафф? Чарли Вудмен? Готовы? — прошептал Дуглас Детской улице. — Готовы? — раскисшим лужайкам, чью росу впитали бейсбольные мячики, словно губки, пустым веревочным качелям на ветвях деревьев.

— Мама, папа, Том, просыпайтесь!

Будильники ласково затренькали. Часы на здании суда гулко загудели. Птицы вспорхнули с деревьев, как сеть, закинутая его рукой, рассыпая

свои трели. Дуглас — дирижер оркестра простер руку к небу на востоке.

И Солнце начало восходить.

Он сложил руки на груди и расплылся в улыбке настоящего волшебника.

«Вот так-то, — подумал он, — стоит мне только повелеть, как все срываются с места и бегут! Лето выдастся на славу». И напоследок он одарил город щелчком пальцев.

Двери домов распахнулись настежь — из них вышли люди.

Лето тысяча девятьсот двадцать восьмого года началось!

III¹

В то утро, пробегая по лужайке, Дуглас Сполдинг разорвал паутинку. Одна-единственная, невидимая, протянутая по воздуху струнка коснулась его лба и беззвучно лопнула.

Уже это незначительное событие подсказало ему, что денек предстоит особенный. Потому что, как сказал ему в автомобиле папа, увозя его вместе с десятилетним Томом за город, бывают дни, состоящие исключительно из запахов: вдыхаешь весь мир в одну ноздрю, а выдыхаешь в другую.

¹ Рассказ Р. Брэбери «Озарение» («Illumination», Reporter, May 16, 1957). Здесь и далее указываются опубликованные произведения, которые впоследствии стали главами настоящей книги.

А бывают дни, продолжил он, обращенные в слух, когда улавливаешь любой шум и шорох во Вселенной. Бывают дни, пригодные для дегустации, и дни, благоприятные для осязания. А некоторые — для всех органов чувств сразу. А сегодняшний день, добавил он, благоухает, как большой безымянный сад, выросший ночью за горами и наполнивший землю, насколько хватает взгляд, теплой свежестью. В воздухе пахло дождем, но не было туч. В роще мог бы раздаться чей-то смешок, но царило молчание...

Дуглас следил за убегающей землей. Он не чуял ни садов, ни дождя, ибо какие могут быть запахи без яблонь и облаков? А тот смешок в чаще леса?

Но факт оставался фактом — Дуглас поежился, — этот день, без видимой причины, стал особенным.

Автомобиль остановился в самой гуще притихшего леса.

— А ну-ка, мальчики, полегче там.

Они пихали друг друга локтями.

— Слушаемся, сэр.

Они вылезли из машины, прихватив синие жестяные ведра, навстречу запаху только прошедшего дождя, подальше от скучной грунтовой дороги.

— Ищите пчел, — велел папа. — Пчелы вьются вокруг винограда, как мальчишки у кухни, правда, Дуг?

Дуглас вскинул глаза.

— Где ты витаешь? — поинтересовался папа. — Больше жизни! Иди с нами в ногу.

— Слушаюсь, сэр.

Они углубились в лес. Впереди — долговязый отец, в его тени — Дуглас, а низкий Том семенил в тени брата. Они подошли ко взгорку и огляделись по сторонам.

— Вот! И вот! Видно? — вопрошал отец. — Здесь обитают мирные летние ветры и уходят в зеленые дебри, незримые, как призрачные киты.

Дуглас быстро осмотрелся, ничего не заметив, и решил, что это очередной папин розыгрыш, который, под стать дедушке, обожал розыгрыши. Но... но все равно, Дуглас замер и прислушался.

«Да, что-то должно случиться, — подумал он, — я знаю!»

— Вот папоротник венерин волос. — Папа шагнул, сжимая дужку ведра, которое раскачивалось, как колокол. — Чуете? — Он взрыхлил почву носком ботинка. — Целый миллион лет копились палые листья для этой роскошной жирной лесной подстилки. Подумай, сколько понадобилось листопадов, чтобы она образовалась!

— Ух ты, — изумился Том, — я ступаю бесшумно, как индеец!

Дуглас впечатал ступню в суглинок, но глубины не ощутил, а только насторожился.

«Нас окружили, — промелькнуло у него в голове. — Значит, что-то должно случиться! Но что

именно?» Он замер. «Выходите! Эй, где вы там?! Кто бы вы ни были!» — беззвучно кричал он.

Впереди Том с папой неспешно прогуливались по притихшей земле.

— Тончайшие кружева, — негромко проговорил папа.

И он вскинул руки к деревьям, показывая, как это кружево было сплетено по небу или как небо было вплетено между ветвей деревьев. Сразу не разберешь.

— Но вот же оно, — улыбнулся он, и голубое-зеленое плетение продолжалось. — Если приглядеться, то увидишь, как лес трудится на гудящем ткацком станке. — Папа удобно устроился и разглагольствовал о том о сем. Слова непринужденно слетали с его уст. Его речь потекла еще свободнее, поскольку он все время подтрунивал над собственными словами. Ему нравится слушать тишину, говорил он, если к ней вообще возможно прислушиваться, ведь, продолжал он, в этой тишине можно услышать, как осыпается пыльца в воздухе, разогретом пчелиным гудением. Именно! Разогретом пчелами! Прислушайтесь к водопаду птичьих рулад, там, за деревьями!

«Вот, — думал Дуглас, — вот оно, приближается! Бежит! Я его не вижу! А оно бежит прямо на меня!»

— Лисий виноград! — воскликнул папа. — Вот так удача! Вы только гляньте!

Нет! У Дугласа аж дух перехватило.

Но Том с папой присели, чтобы запустить свои руки в глубь хрустящей лозы. Чары развеялись. Страшный рыскатель, бесподобный бегатель, скакатель-прыгатель и хвататель душ — улетучился, испарился.

Дуглас, опустошенный и удрученный, пал на колени. Его пальцы погрузились в зеленую тень и вышли окрашенными в такой цвет, словно он пронзил лес ножом и сунул руку в открытую рану.

* * *

— Перерыв на обед, мальчики!

Набрав по полведра лисьего винограда и лесной земляники, преследуемые пчелами, которые олицетворяли, по словам папы, ни больше ни меньше гудящую что-то себе под нос Вселенную, они уселись на изумрудно-замшелое бревно, перемалывая сэндвичи и пытаясь слушать лес, как это умел папа. Дуглас чувствовал на себе папин взгляд и молча этим забавлялся. Папа начал было говорить о том, что пришло ему в голову, но потом, откусив от сэндвича, стал рассуждать:

— Сэндвич на природе — не просто сэндвич. Замечали? Здесь он на вкус не такой, как дома, а пикантнее. С привкусом мяты или хвои... Воздух творит чудеса — аппетит зверский!

Дуглас недоверчиво полизал хлеб с поперченной ветчиной. Да нет вроде... Сэндвич как сэндвич.

Том жевал, кивая в знак согласия:

— Уж я-то тебя понимаю, папа!

«Еще чуть-чуть, и это свершилось бы, — думал Дуглас. — Что бы это ни было, оно было Большое, ой, до чего же Большое! Что-то спугнуло его. Где-то оно теперь? Вернулось в заросли! Нет, у меня за спиной! Нет, оно здесь... почти что здесь...» Он исподволь поглаживал себя по животу.

«Если я подожду, оно вернется. Оно не причинит мне вреда. Я знаю, оно здесь не для этого. Тогда для чего же? Для чего? Для чего?»

— Знаешь, сколько раз мы сыграли в бейсбол в этом году? А в прошлом? А в позапрошлом? — заговорил вдруг Том ни с того ни с сего.

Дуглас посмотрел, как Том быстро-быстро шевелит губами.

— У меня записано! Тысячу пятьсот шестьдесят восемь раз! А сколько раз я почистил зубы за десять лет? Шесть тысяч раз! Сколько раз помыл руки? Пятнадцать тысяч раз. Сколько раз лег спать? Четыре тысячи с лишним раз, не считая послеобеденного сна. Съел шестьсот персиков. Восемьсот яблок. Груш — двести. Я до груш не очень охоч. Назови что хочешь — у меня вся статистика! Мильярд миллионов дел переделал. Сложено-помножено на десять лет.

«А теперь, — думал Дуглас, — оно опять приближается. Зачем? Потому что Том заговорил? Но почему Том? Том знай себе лопочет. Полон рот сэндвича». Папа — настороженный, как рысь, —

на бревне, а изо рта у Тома слова вылетали, как стремительные пузырьки из газировки:

— Прочитал четыреста книг. Утренние сеансы: с участием Бака Джонса — сорок фильмов, с Джеком Хокси — тридцать, с Томом Миксом — сорок пять, с Хутом Гибсоном — тридцать девять. Сто девяносто два раза ходил на мультики про кота Феликса. Десять раз смотрел фильмы с Дугласом Фербенксом. Восемь раз видел Лона Чейни в «Призраке Оперы». Четыре раза — Милтона Силлса. И один раз кино с Адольфом Менжу про любовь: пришлось проторчать девяносто часов в туалете, пока вся эта ерунда не кончилась и не начались «Кот и канарейка» или «Летучая мышь», и все вцепились друг в друга и вопили два часа кряду, не выпуская. За это время я съел четыреста леденцов на палочке, триста шоколадных батончиков «Тутси роллс», семьсот рожков с мороженым...

Том неторопливо разглагольствовал еще минут пять, пока папа не поинтересовался у него:

— Сколько ягод ты успел нарвать, Том?

— Двести пятьдесят шесть — ровно! — последовал немедленный ответ.

Папа рассмеялся, и обед подошел к концу. Они снова ушли в зеленые тени на поиски винограда и крошечных земляничек. Все трое наклонились, их руки сновали туда-сюда. Ведра тяжелели. Затаив дыхание, Дуглас думал: «Да, да. Оно опять приблизилось! Почти дышит мне в затылок! Не смотри! Работай. Рви ягоды. Насыпай в ведро.

Поднимешь глаза — отпугнешь. Не упусти его на этот раз! Но как бы так извернуться, чтобы посмотреть ему прямо в глаза? Как? Как?»

— А у меня снежинка есть в спичечном коробке, — сказал Том, разглядывая с улыбкой перчатку из винного сока у себя на руке.

«Замолчи!» — чуть было не вскричал Дуглас. Но нет, крик растревожил бы эхо, и Существо сбегало бы!

А, постой-ка... Том говорил, а оно, такое большое-пребольшое Существо, подкрадывалось все ближе. Оно не боялось Тома. Он приманивал Существо своим дыханием. Они с Томом заодно!

— В прошлом году, в феврале, — сказал Том, усмехаясь, — во время метели я поднял коробок вверх и поймал снежинку. Запер — и бегом домой, в ледник ее!

Близко, Оно совсем близко. Дуглас уставился на мельтешащие губы Тома. Ему захотелось вскопчить, ибо он чуял, как за лесом вздымается исполинская приливная волна. Еще мгновение — и она обрушится на них и раздавит навсегда...

— Вот так-то, — размышлял Том, увлеченно собирая виноград. — Во всем Иллинойсе только у меня есть снежинка посреди лета. Дороже алмазов, как пить дать! Завтра я ее достану, Дуг, чтобы ты тоже ее увидел...

В какой-нибудь другой день Дуглас фыркнул бы, отмахнулся, запротестовал. Но сейчас, когда великанское Существо несло на них, низверга-

ясь с небес, он мог только, прикрыв веки, кивнуть.

Том перестал рвать ягоды, обернулся, заинтригованно уставившись на братца.

Выгнутая спина Дугласа — законная добыча! Том вскочил, заверещал — и как сиганет на него! Они повалились наземь, схлестнулись и покатались кубарем.

Нет! Дуглас приказал себе ни о чем другом не думать. Нельзя! А потом вдруг... Можно. Почему нет? Да! Потасовка, соударение тел, падение на землю не отпугнуло нахлынувшее море, которое все затопило и вынесло их на травянистый берег в чащу леса. Костяшки пальцев стукнули его по зубам, он ощутил во рту ржавый теплый привкус крови. Он крепко-накрепко сграбастал Тома, и они лежали в тишине. Сердечки колотились, ноздри сопели. И наконец, медленно, опасаясь, что ничего не обнаружится, Дуглас приоткрыл один глаз.

И все, все-превсе оказалось на своем месте.

Подобно огромной радужке гигантского глаза, который тоже только что раскрылся и раздался вширь, чтобы вобрать в себя все на свете, на него уставилась Вселенная.

И он понял: то, что нахлынуло на него, останется с ним навсегда и никуда больше не сбежит.

«Я — живу», — подумал он.

Его пальцы в яркой крови дрожали, как локуты диковинного флага, только что обретенного, но доселе невиданного, и он недоумевал, какой

стране и какую клятву верности он должен принести. Удерживая Тома, но не осознавая, что это он, Дуглас потрогал свободной рукой кровь, словно надеялся ее сколупнуть, поднял руку и перевернулся. Затем выпустил Тома и лежал на спине с воздетой к небу рукой, а сам стал головой, откуда его глаза, как стражи сказочного замка, таращились сквозь опускающую решетку на подъемный мост — его плечо, и пальцы — кровавый пунцовый стяг, колыхались, пронизанные светом.

— Что с тобой, Дуг? — спросил Том.

Его гулкий, потусторонний голос доносился из воды, со дна зеленого замшелого колодца.

Под ним шепталась трава. Он опустил руку, чувствуя, как ее обволакивает онемелость. А далеко внизу поскрипывали в туфлях пальцы ног. В раковинах ушей вздыхал ветер. Перед его стеклянными глазными яблоками промелькнула, сверкая картинками, как в искристом хрустальном шаре, вся Вселенная. Рассеянные по лесу цветы заменяли солнце и огненные точки на небе. Птицы промелькнули камнями, запущенными в необъятный свод небес, как в перевернутый вверх дном пруд. Он цедил сквозь зубы воздух, вдыхая лед и выдыхая пламя. Насекомые рассекали воздух с электрической резкостью. Десятки тысяч волосков на его голове отросли на одну миллионную долю дюйма. Он слышал, как два сердца бьются в его ушах, а третье — в горле. Два сердца пульси-

руют в запястьях, а настоящее стучит в груди. В его теле раскрывались мириады пор.

— Я на самом деле живу. Я никогда раньше этого не осознавал, а если осознавал, то не запомнил!

Он закричал что есть мочи, но про себя, раз десять! Подумать только, подумать только! Двенадцать лет прожить — и вот только сейчас обнаружить редкий хронометр, золотые часы, с гарантией на семьдесят лет, забытые под деревом и найденные во время потасовки.

— Что с тобой, Дуг?

Дуглас завопил, сграбастал Тома в охапку, и они покатались по земле.

— Ты что, сбрендил, Дуг?

— Сбрендил!

Они покатались под косогор — им в рот влетало солнце, осколками лимонного стекла кололо глаза — и они хватали ртом воздух, как выброшенная на берег форель, хохоча до слез.

— Ты что, совсем спятил, Дуг?

— Нет, нет, нет, нет!

Смежив веки, Дуглас видел пятнистых леопардов, беззвучно крадущихся во тьме.

— Том! — Потом вполголоса: — Том... кто-нибудь в мире... знает, догадывается о том, что он живет?

— Скажешь тоже! Конечно!

Леопарды бесшумно просеменили в более темные края, выходя из его поля зрения.

— Надеюсь, — прошептал Дуглас. — Очень надеюсь, что догадываются.

Дуглас открыл глаза. Над ним возвышался папа на фоне зеленого лиственного неба и смеялся, руки в боки. Их глаза встретились. Дуглас встрепенулся. «Папа знает, — подумал он. — Все так было задумано. Он привел нас сюда с умыслом, чтобы это со мной случилось! Он в этом замешан! Он в курсе всего этого. А теперь он знает, что и я знаю».

Из воздуха возникла рука и схватила его. Поставленный на ноги, вместе с Томом и папой, в синяках, потрепанный, озадаченный, исполненный благоговения, Дуглас бережно поддерживал свои странные локти и не без удовольствия облизывал рассеченную губу. Потом он взглянул на папу и Тома.

— Я сам понесу ведра, — сказал он. — Сегодня я все беру на себя.

Вопросительно улыбаясь, они вручили ему ведра.

Он стоял, слегка покачиваясь, крепко сжимая в своих отягощенных руках лес, собранный, полновесный и налитой соками. «Я хочу почувствовать все, что только можно, — думал он. — Пусть я устану, я хочу прочувствовать эту усталость. Я не должен забывать, что я — живу, я знаю, что я живу, мне нельзя этого забывать ни ночью, ни завтра, ни послезавтра».

Он шел с тяжелой ношей, чуть хмельной, а за

ним тянулись пчелы и ароматы винограда и солнечного лета. Его пальцы в восхитительных мозолях, руки гудят, ноги спотыкаются, и папа хватается его за плечо.

— Нет, — пробормотал Дуглас, — я в порядке, все нормально.

Лишь спустя полчаса улетучился дух трав, корней, камней и коры замшелого бревна, что отпечатались на его руках, ногах и спине. Пока Дуглас в раздумьях, пусть всё это ускользает, растворяется, выветривается. Брат и молчаливый папа шли за ним, чтобы он, как следопыт, сам прокладывал путь сквозь лес, навстречу невероятному шоссе, которое приведет их в город...

III¹

Итак, спустя некоторое время мы в городе.

И вот очередной урожай.

Дедушка стоит на широком переднем крыльце, словно капитан, обозревающий бескрайнюю полосу недвижимого летнего штиля, что прямо по курсу лежит. Он просил ветер, заповедное небо и лужайку, на которой стояли Дуглас и Том, чтобы вопросы задавали только ему.

— Деда, а они уже созрели?

Дед поскреб подбородок.

¹ Рассказ Р. Брэдбери «Вино из одуванчиков» («Dandelion Wine», «Gourmet», June 1953).

— Пять сотен, тысяча, две тысячи, как пить дать. Да, да, урожай что надо. Так что за дело, мальчишки! Выбирайте всё подчистую! Десять центов за каждый мешок, доставленный на давилню!

— Ура!

Мальчишки заулыбались, присели и принялись рвать золотистые цветы, которые наводнили весь мир, выплеснулись из лужаек на мощенные кирпичом мостовые, нежно постукивали в хрустальные оконца погребов и так распалились, что отовсюду ослепительно блистало расплавленное солнце.

— Каждый год, — сказал дедушка, — эти желтогривые буянют. Словно на дворе целый львиный прайд. Засмотришься на них, так еще, чего доброго, ожог сетчатки себе схлопочешь. Простецкий цветок, сорняк, на него и внимания никто не обращает. А мы чтим его благородие — одуванчик.

И вот бережно сорванные одуванчики мешками стаскивают вниз. От них во тьме погреба начиналось свечение. Холодная давилня стояла наготове. Лавина одуванчиков ее согрела. Дедушка крутил винт пресса, который плавно сжимал цветки.

— Вот... так...

Золотистая струя — эликсир ясного солнечного месяца — побежала, потом хлынула вниз по желобку в чан. Потом брожение останавливали и разливали в чистые бутылки из-под кетчупа, после чего расставляли их искрящимися рядами во мгле.

Вино из одуванчиков.

Слова имели привкус лета. Вино из одуванчиков — это уловленное и закупоренное в бутылки

лето. Теперь, когда Дуглас постиг, что живет и ходит по белу свету, чтобы все увидеть и потрогать, он обрел новое знание: каждый особенный день жизни необходимо запечатать, чтобы откупорить его в январский день, когда валит снег, а солнце неделями, месяцами напролет не выходит, и, может быть, какое-нибудь чудо, уже забытое, просится, чтобы его освежили в памяти. Раз уж этому лету суждено стать порой неожиданных чудес, то пусть его целиком сохраняют и наклеят этикетки, чтобы всякий раз, когда ему захочется, он смог бы, протянув руку, погрузиться в сырую тьму.

А там — ряды бутылей с одуванчиковым вином, ласковое сияние распустившихся спозаранку цветков, просвечивающие сквозь тончайшую поволоку пыли лучи июньского солнца. Присмотрись к ним в зимний день — и в проталине покажется травка, в кроны деревьев вернуться птицы, листва и цветы и будут колыхаться на ветру, словно континент бабочек. Присмотрись — и стальное небо засинеет.

Держи лето в ладони, налей лето в стакан, совсем крошечный, разумеется, ведь детям полагается малюсенький глоточек с горчинкой; пригуби лета из бокала — и в твоих жилах переменится время года.

— Готово! Теперь дождевая бочка!

Ничто в мире не заменит чистых вод, призванных из далеких озер и душистых полей травяной предрассветной росы, поднятых на небеса, пере-

несенных в отстиранных массах на девятьсот миль, потрепанных ветрами, наэлектризованных высоким напряжением, а затем конденсированных холодным воздухом. Эта вода, выпадая дождем, насытила свою кристальность небесами. Взяв что-то от восточного ветра, немного от западного, северного и южного, вода стала дождем, а дождю за этот час, что длилось сие священнодействие, суждено было стать вином.

Дуглас вооружился ковшом, чтобы глубоко зачерпнуть из бочки с дождевой водой.

— Готово!

Вода в чаше шелковистая, прозрачная, шелк с голубым отливом. Она смягчит губы, горло и сердце, если ее отведать. Эту воду должно ему доставить в погреб в ковше или ведерке и излить струями и горными потоками на урожай одуванчиков.

Когда бесновалась вьюга, ослепляя мир, залепляя бельмами снега окна и похищая пар дыхания из разинутых ртов, в один из таких февральских дней даже бабушка исчезала в погребе.

Наверху, в большущем доме, кашляли и чихали, хрипели и стонали, дети температурили, глотки становились красными, как говядина от мясника, а носы — цвета вишневой настойки; микробы, крадучись, лезли во все дыры.

Но вот, восходя из погреба, словно божество Июня, возникала бабушка, явно что-то припрятав под вязаной шалью. Это благоухающее прозрачное нечто разносилось вверх-вниз, по всем комнатам, где царило страдание, и разливалось по ста-

канам, которые полагалось опрокинуть залпом. Снадобье давешней поры, бальзам солнца и праздных августовских денечков, еле слышных фургонов со льдом на кирпичных мостовых, взмывающих серебристых фейерверков и фонтанирующих газонокосилок, ворошащих муравьиные уголья... и это все-все — в одном стакане!

Да, именно так, даже бабушка, влекомая в погреб Зимы за Июньскими приключениями, способна была молча уединиться в тайном сговоре с душой и духом, равно как и Дедушка, Папа и дядюшка Берт, и любой постоялец, общаясь с канувшим в небытие календарем жизни, с пикниками и теплыми дождиками, ароматами пшеничных полей, свежей воздушной кукурузы и полегшего сена. Даже Бабушка проговаривала заветные золотистые словеса — причем в тот самый миг, когда цветки высыпали под пресс, и их будут твердить каждую Божию белую зиму, из зимы в зиму, до скончания века. Улыбаются губы, которые молвят эти слова, как будто во тьме неожиданно солнечный луч проблеснул.

Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков. Вино из одуванчиков.

* * *

Подступают бесшумно. Убегают беззвучно. Травы жмутся к земле и распрямляются вновь. Промчались, словно тень облаков с косогора... они — мальчишки летней поры.

Дуглас отстал, заблудился. Тяжело дыша, он встал у края оврага, на кромке бездны, откуда дул ветерок. Здесь — его ушки на макушке, как у оленя, — он учуял опасность, перевозданную и древнюю, как сама вечность. Здесь разделенный город разламывался пополам. Здесь кончалась цивилизация. Здесь были только заросли, и ежечасно случались мириады смертей. И возрождений.

И здесь были тропинки, проторенные или еще не проторенные, которые свидетельствовали о том, что мальчишкам необходимо движение, вечное движение, чтобы возмужать.

Дуглас обернулся. Эта тропа, извиваясь большой пыльной змеей, вела к ледяной обители, где зима коротала дни в золотистую летнюю пору. Эта тропа вела к раскаленным, словно из доменной печи, пескам на берегу озера в июле. А та — к деревьям, на которых мальчишки могли расти, как кисленькие зелененькие яблочки-китайки, прячущиеся в листве. А эта — к персиковому саду, виноградной оранжерее, арбузам, возлежащим, как «черепаховые» коты, сморенные солнышком. Эта тропа — заросла, но ужасно извилиста, ведет в школу! Эта — как стрела, прямиком ведет на субботние утренние сеансы про ковбоев. А эта — вдоль речки, ведет в еще не исхоженные загородные пределы...

Дуглас нахмурился.

Кто скажет, где начинается город и кончаются нехоженные тропы? Кто скажет, откуда что берется

и кому что принадлежит? Вечно будет существовать расплывчатое непостижимое место, где эти два начала борются, и одно из них побеждает на какое-то время года и воцаряется на какой-нибудь улице, в магазине, в ложине, на дереве, в кустарнике. Волны великого моря трав и цветов набегают на город, начиная разбег далеко, в чистом поле, вторгаясь все глубже под натиском времени года. Каждую ночь природа, луга, далекие края текли по дну оврага и проникали в город, с собой принося запахи трав и воды, и город, опустошенный, вымирал и возвращался к земле. И каждое утро овраг понемногу подкрадывался к городу, грозя подтопить гаражи, как дырявые лодки, проглотить старые драндулеты, брошенные на произвол дождя, способного облупить их краску, а значит — обречь на ржавчину.

— Эге-ге-гей! Эге-ге-гей! — Джон Хафф и Чарли Вудмен неслись сквозь тайны оврага, города и времени. — Эге-ге-гей!

Дуглас медленно брел по тропе. В овраг и впрямь приходили за двумя жизненно важными вещами — познать нравы человека и постичь устройство природы. Ведь город есть не что иное, как большой корабль, населенный людьми, пережившими крушение, которые вечно снуют, избавляясь от травы, скалывая ржавчину. Время от времени шлюпка или сарайчик, как корабль, затерянный в безмолвном шторме времен года, шли на дно в тихих заводях термитников и муравейни-

ков, проваливаясь в горловину оврага, чтобы испытать на себе стрекотание мельтешащих кузнечиков, подобное трескотне сухой бумаги, когда ее волокут по горячим сорнякам, чтобы тончайшая пыль поглотила все звуки; и, наконец, чтобы лавиной смолы и черепицы рухнуть, подобно горящим святилищам, в костер, запаленный голубой молнией, запечатлевающей с фотовспышкой торжество дикой природы.

Вот, значит, в чем дело: Дугласа манила тайна (человек отнимает у земли, а земля год за годом отвоевывает у человека), осознание того, что города никогда не побеждают, а просто пребывают в тихом ужасе, сполна оснащенные газонокосилками, брызгалками от жучья и шпалерными ножницами, и остаются на плаву ровно столько, сколько велено цивилизацией, но каждый дом готов навечно провалиться в зеленую пучину, как только с лица земли исчезнет последний человек, а садовые совочки с косилками изойдут кукурузными хлопьями ржавчины.

Город. Природа. Жилище. Овраг. Дуглас переводил взгляд с одного места на другое. Но как соотносить одно с другим, как осмыслить чередование, когда...

Взгляд его упал на землю.

Первый обряд лета — сбор урожая одуванчиков, приготовление вина — совершен. Теперь второй обряд требовал от него действий, но он стоял как вкопанный.

— Дуг, ну же!.. Дуг!.. — Бегущие мальчики исчезли из виду.

— Я живу, — размышлял Дуглас. — Но что толку? Они живее меня. Как же так? Как же так?

И, стоя в одиночестве, он увидел ответ, разглядывая свои неподвижные ступни...

IV¹

Поздним вечером, возвращаясь домой из кино с мамой, папой и братишкой Томом, в ярко освещенной витрине магазина Дуглас узрел теннисные туфли. Он тотчас отвел взгляд, но его лодыжки напряглись, ступни на миг зависли в воздухе — и он сорвался с места. Земля завертелась под ногами. От его рывка магазинный навес захлопал холщовыми крыльями. Мама, папа и брат молча шагали по обе стороны от него. Дуглас шел задом наперед, не сводя глаз с теннисок в витрине, покинутых в ночи.

— Хороший фильм, — сказала мама.

— Хороший, — пробормотал Дуглас.

На дворе июнь. Поздно покупать особую обувь, в которой ступаешь по тротуарам беззвучно, как летний дождичек. Июнь — и земля насыщена необузданной силой, и все пришло в движение. Тра-

¹ Рассказ Р. Брэбери «В воздухе витает лето» («Summer in the Air», Saturday Evening Post, February 18, 1956).

вы еще выплескиваются из пригородов, окружая тротуары, сажая дома на мель. Еще чуть-чуть — и город опрокинется и пойдет ко дну, не оставив и следа на поверхности клевера и сорняков. А Дуглас оказался в ловушке из мертвого цемента и мощенных красным кирпичом улиц и не мог сдвинуться с места.

— Пап! — выпалил он. — Там, в витрине, теннисные туфли, на кремовой губке...

Отец даже не оглянулся.

— Может, объяснишь, зачем тебе понадобится новая пара кроссовок? Попробуй-ка!

— Ну...

Потому что в них у тебя такое ощущение, какое возникает каждое лето, как только сбросишь обувь и в первый раз пробежишься по травке. В них такое ощущение, какое бывает, когда высунешь зимой ступни из-под жаркого одеяла на холодный ветер, вдруг подувший из распахнутого окна, и удержишь их так, долго-долго, пока снова не запрячешь их под одеяло, чтобы почувствовать, как они превратились в укатанный снег. В теннисках ты чувствуешь себя так же, как каждый год, когда переходишь вброд в медленной воде речку и видишь, что твои ступни теперь оказываются на полдюйма ниже по течению, чем ноги над водой, из-за преломления света.

— Пап, — сказал Дуглас, — это трудно объяснить.

Каким-то образом тем, кто шьет тенниски, из-

вестны нужды и желания мальчишек. Они изготавливают подошвы из зефира с пастилой и встраивают в них извилистые пружины, а остальное сплетают из трав, обесцвеченных и опаленных пустыней. Где-то в пластичной глине кроссовок запрятаны тонкие прочные оленьи жилы. Те, кто делает тенниски, наверное, долго следили за ветрами, качающими кроны деревьев, за реками, впадающими в озера. Так оно или нет, но что-то такое заложено в кроссовки, и это нечто есть лето.

Дуглас силился выразить все это словами.

— Ладно, — сказал папа, — а что не так с прошлогодними теннисками? Что тебе мешает откопать их в шкафу?

Ах, можно только пожалеть мальчишек в Калифорнии, где тенниски носят круглый год и даже не представляют себе, что значит отряхнуть с ног зиму, скovyрнуть железные кожаные ботинки, набитые снегом, налитые дождем, и побегать денек босоногим, а после зашнуровать первые новенькие тенниски в этом году — а это даже лучше, чем бегать босиком. Очарование всегда заключается в новой паре туфель. К первому сентября оно, пожалуй, потускнеет, но в конце июня его еще хватает с лихвой: в таких теннисках можно прыгать через деревья, реки и дома. А если захотеть, то и через заборы, тротуары и даже собак!

— Почему ты не хочешь понять, — вопрошал Дуглас, — что ходить в прошлогодних кроссовках просто невозможно?!

Прошлогодние изнутри уже омертвели. Они были превосходны, когда он начал их носить в прошлом году. Но каждый год к исходу лета ты всегда обнаруживаешь, нет, ты всегда знал, что не сможешь в них перемахивать через реки, деревья и дома, ибо они омертвели. А этот год — новый, и он чувствовал, что на этот раз в новой паре обуви ему будет под силу все на свете.

Они поднимались по ступенькам своего дома.

— Прибереги свои деньги, — посоветовал папа. — Через пять-шесть недель...

— Лето же кончится!

В темноте Том уснул, а Дуглас лежал, разглядывая свои ступни в лунном свете, далеко, на том краю кровати, избавленные от железных ботинок — громоздких глыб зимы.

— Причины. Нужно придумать, почему мне до зарезу нужны тенниски.

Как всем известно, на холмах вокруг города царило неистовство дружков-приятелей, которые доводили коров до истерики, приспособливали барометр к атмосферным изменениям, загорали, облезали, как отрывные календари, чтобы снова позагорать. Чтобы их поймать, нужно было бегать быстрее белок и лисиц. А город прямо-таки ошалел, раздраженный зноем, и поэтому припоминал каждую зимнюю ссору и обиду. *Находи друзей, вали недругов!* Вот девиз производителя теннисных туфель на кремовой губке. *Все в мире бежит, ускоряясь? Хочешь догнать? Хочешь быть наче-*

ку? — Будь начеку! Носи теннисные туфли на кремовой губке!

Он поднял свою копилку и услышал слабый перезвон легковесных монет.

«Чего бы ты ни хотел, — думал он, — ты должен добиваться сам. А теперь поищем тропинку в ночном лесу...»

В городе одна за другой гасли витрины. В окно задувал ветер. Похоже было на сплав вниз по течению реки, и ему захотелось окунуть ноги в воду.

Во сне он слышал, как в высокой траве бежит, бежит, бежит кролик.

* * *

Пожилой мистер Сандерсон рассказывал по своему обувному пассажиру, будто хозяин зоомагазина, населенного животными со всех концов света, и ласкал на ходу каждого обитателя. Мистер Сандерсон гладил туфли, выставленные в витрине, которые напоминали ему котам или собакам. Он заботливо прикасался к каждой паре, поправляя шнурки и язычки. Затем он встал в самом центре ковра и, довольно кивая, огляделся по сторонам.

Приближались раскаты грома.

Вот в дверях магазина Сандерсона никого нет, а вот — уже возник Дуглас Сполдинг и неуклюже переминается с ноги на ногу, опустив глаза на свои кожаные ботинки, словно они неуклюже увязли.

Гром перестал греметь, когда замерли его башмаки. Теперь, с болезненной медлительностью, осмеливаясь смотреть только на деньги, зажатые в кулачке, Дуглас выступил из яркого света субботнего полдня. Он аккуратно расставил на прилавке столбики из пятицентовиков, десятицентовиков и четвертаков, как шахматист, озабоченный тем, что следующий ход может вывести его на солнечную сторону, а может — в глубокую тень.

— Ни слова! — скомандовал мистер Сандерсон.

Дуглас остолбенел.

— Во-первых, я знаю, что ты хочешь купить, — сказал мистер Сандерсон. — Во-вторых, я вижу тебя каждый день перед моей витриной. Думаешь, я не замечаю? Ошибаешься. В-третьих, называя вещи их полными именами, ты пришел за теннисными туфлями на сливочной губке — «Королевская корона» — «МЕНТОЛ ДЛЯ ВАШИХ СТУПЕНЕЙ!». В-четвертых, тебе нужен кредит.

— Нет, — вскричал Дуглас, задыхаясь, словно всю ночь во сне мчался куда-то. — Я могу предложить кое-что получше кредита, — выпалил он. — Но сперва, мистер Сандерсон, сделайте мне маленькое одолжение: не вспомните ли вы, когда в последний раз вы сами надевали кроссовки «Королевская корона»?

Мистер Сандерсон помрачнел.

— Ах, десять, двадцать лет тому назад, может, тридцать. А что?..

— Мистер Сандерсон, не находите ли вы, что

должны уважить своих покупателей и хотя бы на минутку примерить тенниски, которые продаете, чтобы знать, каково в них? Если не попробовать этого, то так и забывается. Курит же сигары продавец сигарного магазина? Наверняка продавец сладостей из кондитерской пробует свои конфетки. Так что...

— Ты, наверное, заметил, — сказал старик, — что я, вообще-то, обут.

— Но не в тенниски, сэр! Как вы будете продавать тенниски, если вы не сходите по ним с ума, и как вы будете сходить по ним с ума, если вы с ними не водитесь?

От мальчишечьей горячности мистер Сандерсон слегка отпрянул, взявшись за подбородок.

— Н-ну...

— Мистер Сандерсон, — сказал Дуглас, — продайте мне кое-что, а я вам — кое-что равноценное.

— Неужели, чтобы продать тенниски, их непременно надо носить, сынок? — полюбопытствовал старик.

— Мне бы ужасно этого хотелось, сэр!

Старик вздохнул. Спустя минуту, кряхтя, потихоньку, он зашнуровывал тенниски на своих длинных узких ступнях. На фоне черных манжет его делового костюма они смотрелись отстраненно и чуждо. Мистер Сандерсон встал.

— Как они вам? — спросил мальчик.

— Он еще спрашивает, как они мне! Превосходно!

Он собрался присесть.

— Пожалуйста! — Дуглас простер к нему руку. — Мистер Сандерсон, а теперь покачайтесь вперед-назад, попереминайтесь с ноги на ногу, попрыгайте, а я тем временем расскажу вам остальное. Так вот: я даю вам деньги, а вы мне — кроссовки, и я еще остаюсь вам должен один доллар. Но зато, мистер Сандерсон, зато... как только я надену тенниски, знаете, что тогда произойдет?

— Что?

— Бум! Я буду забирать и доставлять ваши посылки, приносить кофе, жечь мусор, бегать на почту, на телеграф, в библиотеку! Каждый миг я буду мелькать туда-сюда, туда-сюда: вы увидите дюжину Дугласов. Только почувствуйте эти тенниски, мистер Сандерсон, видите, каким быстроногим я стану? Со всеми пружинами внутри. Почуяли внутри себя бег? Почуяли, как они захватывают вас? Лишают покоя, не желая, чтобы вы просто стояли на месте? Посмотрите, как быстро я справлюсь с делами, которыми вам неохота заниматься! Вы находитесь в своем прохладном магазине, а я тем временем ношусь взад-вперед по всему городу! Но на самом деле я тут ни при чем, это все они, кроссовки, как угорелые, мчатся по переулкам, срезая углы, и возвращаются обратно! Так-то!

От такого словесного натиска мистер Сандер-

сон аж разинул рот. Ураган слов подхватил и понес его. Он стал все глубже погружаться в тенниски, шевелить пальцами ног, разминать подошвы ступней и лодыжки. Его тайком, незаметно раскачивало дуновение ветерка из дверного проема. Тенниски беззвучно впечатывались в ковер, утопали, словно в травах джунглей, в суглинке и упругой глине. Он внушительно топнул пяткой, погруженной в дрожжевое тесто, в податливую приветливую почву. По его лицу промчался ураган эмоций, как будто замельтешили бесчисленные разноцветные лампочки. Рот приоткрылся. Медленно-медленно он перестал раскачиваться, голос мальчика стал затухать, и они стояли, уставясь друг на друга в звенящей первозданной тишине.

По разогретому тротуару мимо прошагали несколько пешеходов. Старик и мальчишка так и стояли не шелохнувшись. Мальчуган — сияющий, старик — просветленный.

— Мальчик, — промолвил наконец старик, — а как насчет того, чтобы через пять лет заняться продажей обуви в этом магазине?

— Спасибо, мистер Сандерсон, но я еще не решил, кем хочу стать.

— Ты станешь, кем захочешь, — сказал старик. — Никто тебе не сможет помешать.

Старик легкой походкой прошествовал по магазину до стены, сложенной из десятка тыщ коробок, принес несколько пар мальчику и составил

список на листке бумаги, пока тот зашнуровывал свои тенниски, а потом стоял в ожидании.

Старик протянул ему бумажку.

— Сегодня тебе предстоит выполнить с дюжины поручений. Справишься с ними — и мы в расчете. После чего ты свободен.

— Спасибо, мистер Сандерсон! — Дуглас сорвался с места.

— Стой! — вскричал старик.

Дуглас притормозил и обернулся.

Мистер Сандерсон подался вперед.

— Какие ощущения?

Мальчик взглянул на свои ступни, утопающие в глубоких реках, в пшеничных полях и ветрах, которые уже выдували его из города. Он поднял горящие глаза на старика, его губы беззвучно зашевелились.

— Антилопы? — спросил старик, переводя взгляд со своих туфель на кроссовки мальчика. — Газели?

Мальчик задумался, посомневался, ответил отрывистым кивком. И тотчас пропал. Зашептал, крутанулся — и исчез. Шелест кроссовок растворился в зное джунглей.

Мистер Сандерсон так и остался стоять в залитом солнцем дверном проеме, прислушиваясь. Он вспомнил этот шелест из далекого прошлого и мальчишеских мечтаний. Прекрасные создания взлетают до небес, пронизывают чащобу под кро-

нами деревьев, оставляя после себя лишь неуловимое эхо.

— Антилопы, — подтвердил мистер Сандерсон. — Газели.

Он нагнулся, чтобы подобрать брошенные зимние ботинки мальчика, отягощенные ливнями и давно стаявшими снегами. Уходя от раскаленного солнца, ступая легко и плавно, он не спеша вернулся в лоно цивилизации...

V

Дуглас достал пятицентовый блокнот с желтыми листами и желтый карандаш «Тикондерога». Он открыл блокнот и лизнул грифель.

— Том, — сказал он, — ты со своей статистикой подсказал мне одну мысль. Я решил делать то же самое. Буду следить за событиями. Например, тебе не приходило в голову, что каждое божье лето мы делаем то же, что и в прошедшее?

— Например, Дуг?

— Ну, скажем, делаем вино из одуванчиков, покупаем новые кроссовки, запускаем первый фейерверк в году, готовим лимонад, занозим себе ноги, собираем лисий виноград. Каждый год — одно и то же. Никаких перемен, никакой разницы. Это тебе первая половина лета, Том.

— А что во второй половине?

— То, что происходит впервые в жизни.

— Например, когда попробуешь маслин?

— Гораздо важнее. Например, оказывается, что дедушка и папа знают далеко не все на свете.

— Они знают все, что нужно знать, заруби себе на носу!

— Том, не спорь. Это уже записано у меня в графе «Открытия и откровения». Они знают не все. И ничего в этом плохого нет. Это я тоже выяснил.

— Какая еще новая бредятинa пришла тебе в голову?

— Я живу.

— Тоже мне новость!

— Когда начинаешь над этим задумываться, обращать на это внимание — вот что ново. Мы делаем что-то, сами того не замечая. Потом вдруг, на тебе, смотришь, а это и впрямь впервые! Я поделю лето на две половины. Первая озаглавлена «Обряды и обычаи». Первая в году шипучка. Первая пробежка босиком по траве. Первый раз чуть не утону в озере. Первый арбуз. Первый комар. Первый урожай одуванчиков. Все это мы делаем, даже не замечая. А в конце блокнота, как я уже сказал, «Открытия и откровения», а может, «Озарения» — вот отличное словечко. Или «Предчувствия», годится? Короче, ты занимаешься каким-нибудь привычным делом, скажем, разливаешь по бутылкам вино из одуванчиков, а потом вписываешь это в графу «Обряды и обычаи». Потом ты задумываешься об этом и все свои мысли, неважно, бредовые или нет, записываешь в графу «Открытия и

откровения». Вот что у меня написано про вино: «Каждый раз, когда ты разливаешь его в бутылки, ты сохраняешь целый кусок лета тысяча девятьсот двадцать восьмого года». Что скажешь, Том?

— Я уже запутался.

— Тогда я прочитаю тебе другую запись в начале блокнота — «Обряды». Вот: «Первые пререкания с папой и взбучка летом тысяча девятьсот двадцать восьмого года, утром двадцать четвертого июня». А в конце блокнота в разделе «Откровения» я записал: «Взрослые не ладят с детьми, потому что они из разного рода-племени. Взгляни на них — они от нас отличаются. Взгляни на нас — мы отличаемся от них. Чуждые расы: «и вместе им не сойтись»¹. Намотай себе на ус, Том!

— В самую точку, Дуг, прямо в яблочко! Так оно и есть! Вот почему мы не ладим с мамой и папой. С этими родителями с утра до вечера одна морока. Да ты просто гений!

— Если за три месяца заметишь что-то такое, что повторяется, дай мне знать. Подумай и скажи. Кю Дню труда мы подведем итоги лета и посмотрим, что получится.

— У меня тут для тебя припасена кое-какая статистика. Бери карандаш, Дуг. Во всем мире растут пять миллиардов деревьев. Я заглядывал в

¹ Двенадцатилетний Дуглас цитирует «Балладу о Востоке и Западе» Р. Киплинга: «Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet».